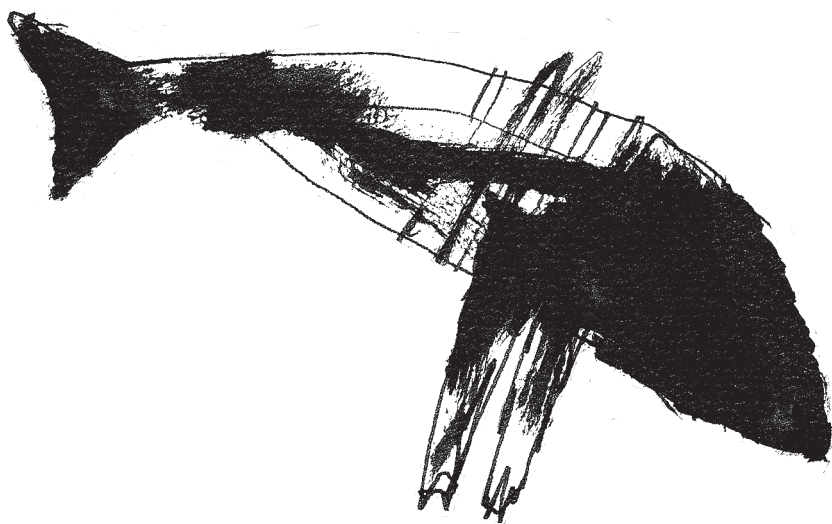


ЛЕТО



1 Три с половиной миллиарда лет минуло с зарождения в океане первого примитивного организма до того июльского вечера, когда в самый разгар веселья в центре Осло мне позвонил Хуго Осьюрд.

— Прогноз погоды на следующую неделю видел?

Долго мы с ним ждали особой погоды. Не солнца, не тепла, ни даже вёдра. Нет, мы ждали, когда наконец стихнут ветры, гуляющие на просторах между Будё и Лофотенским архипелагом, а точнее — в Вест-фьорде. А уж если ждешь штиля с Вест-фьорда, тут наберись терпения. Неделями скрупулезно читал я метеосводки. Сила ветра колебалась с четырех до восьми баллов, но так и не снизилась до слабого, легкого или тихого. Устав ждать, я забросил метеосводки и забылся в каникулярном ритме летнего Осло — сонной чересполосице теплых дней и нежных ночей.

Очнулся я от голоса Хуго — товарищ мой ненавидит звонить и уж если звонит, то по самой крайней надобности, — похоже, пообещали, что погода установится надолго, догадался я.

— Завтра куплю билет, в понедельник вечером прилечу в Будё, — сказал я.

— Отлично! Пока (*конец связи*).

По пути в Будё я разглядывал в иллюминатор проплывавший подо мной пейзаж, который рисовался мне дном древнего океана. Два миллиарда лет назад земная суша

была полностью скрыта под водой, если не считать горстки островков, разбросанных там и сям. Мировой океан даже в наш век занимает свыше семидесяти процентов поверхности Земли. Как писал кто-то, нашу планету правильной было бы назвать не Землей, а Океаном.

Горы, леса, равнины сменяли друг друга, и так до самого Хельгеланна. Тут взору моему открылись фьорды и вспененное море — оно уходило на запад до самого горизонта и там сливалось с небосклоном, превращаясь в дымку с пепельным отливом цвета птичьего пера. Вырвавшись из Осло на норвежский север, я всякий раз словно освобождаюсь от уз — от стесненных пределов, людской суеты, соседей, речушек, озерца, назойливых муравьев. К морю, вольному и бескрайнему, мерному и качающему, словно моряцкая песнь допароходных времен — она звучала во всех уголках океана, во всех старинных гаванях — от Марселя до Ливерпуля, от Сингапура до Монтевидео, — под эту песню матросы тянули канаты, то поднимая, то опуская паруса.

Сошедши на берег, моряк напоминает беспокойного гостя. Даже если он никогда уже не выйдет в море, все разговоры и поведение моряка сведутся к тому, что надолго на суше он не задержится. Тоска по морю — ее не изжить. Море не отпускает моряка, но на вопросы он отвечать не торопится, темнит.

Вот и на прапрадеда моего, должно быть, напала такая же мистическая морская тоска, когда он вдруг бросил шведскую глушь и отправился на запад, через долины и горы. Словно лососиха на нерест, устремился он к верховьям рек, сперва — против течения, потом — вместе с ним, пока наконец не пришел к морю. Сказывают, когда его спросили о причинах этого путешествия, он назвал только одну — что просто обязан был увидеть море воочию. При этом,

правда, и намерения воротиться не выказал ни малейшего. Видимо, ему не слишком улыбалась мысль провести оставшиеся деньки, горбатясь на тощей пашне родной деревни. Прапрадед мой наверняка был романтик, мечтатель на сильных ногах — иначе не добрался бы до побережья. А там на берегу он обзавелся семьей, а после зафрахтовал корабль да и был таков. Корабль утонул где-то в Тихом океане, а с кораблем погиб весь экипаж. Словно бы человек, поднявшись со дна морского, дал зарок непременно вернуться в его пучину. Словно в пучине-то этой и был его настоящий дом и прапрадед всю дорогу знал об этом. Мне, по крайней мере, хочется так думать, когда я вспоминаю о нем.

Море помогло раскрыть поэтический дар Артюра Рембо. Море вложило в уста поэта тот богатый язык, благодаря которому и он сам, и поэзия шагнули в современность. В 1871 году родился *Le Bateau ivre* (“Пьяный корабль”). Главный герой стихотворения, сам корабль, старенькое торговое суденышко, грезит морским раздольем и, отдавшись на волю волн, без руля и ветрил пускается по широкой реке к океану. Там корабль попадает в жестокий шторм и идет на дно, ставши частью его: “С тех пор купался я в Поэме океана / Среди млечности ее, среди отблесков светил / И пожирающих синь неба неустанно / Глубин, где мысль свою утопленник сокрыл”¹.

Сидя в кресле самолета, я силюсь вспомнить еще хоть что-то из “Пьяного корабля”. На ум приходят буруны, рвущиеся на брег подобно обезумевшим стадам, болота, где в вершах тростника гниет кит Левиафан, коричневая пряжа водорослей, притягивающих к себе пьяный корабль и стягивающих его своими путами. Корабль содрогается от брачного рева бегемотов в кромешных топях, натывает на каркасы кораблей, изъеденные клопами и кишашие змеями, встречает золотистых поющих рыб, электрические

полумесяцы, черных коньков — то есть чудеса, в существовании которых люди *уверили* себя сами...

Корабль окружен видениями, заворочен яростью морской стихии и ее освободительной мощью, нескончаемым волнением и ропотом, но вдруг начинает тяготиться всем этим, чувствуя легкое пресыщение. И тут его тянет к родным берегам. Обратно к спокойным черным лужам.

На момент написания стихотворения шестнадцатилетний Рембо ни разу не бывал на море.

2 Хуго живет на острове Энгелёй в коммуне Стейген. Чтобы попасть туда из Будё, я сажусь на паром пароходства “Хуртигрутен” и он везет меня дальше на север, лавируя между островками и крохотными рыбацкими поселками, которые жмутся к самому краю архипелага на семи ветрах. На причале Хуго встречает меня радостной вестью. Похоже, нам свезло. Третьего дня кто-то забил и разделал хайлендского бычка. А обрезки разбросал по кустарнику — только подбирай. Решили отложить это дело до завтра — когда ехали по мосту на Энгелёйе, зарядил дождь. И вот мы стоим перед здоровенным домом Хуго — на самом верху его башня, внизу, в подвале, галерея, а из окон открывается вид на запад, на Вест-фьорд.

Оказавшись во владениях Хуго, невольно ловишь себя на мысли, что угодил в пиратское логово. Одни диковинки, расставленные вокруг гаража, вполне может стать, были добыты во время набегов на побережье, другие обрамляют вход в галерею, словно музейные экспонаты или трофеи. Большинство этих чудес, такие как замшелый нос корабля и кондовые старинные якоря, Хуго выловил в море. В саду красуется винт английского траулера, затонувшего под Скровой. К стене лодочного ангара прибита табличка с надписью на русском. Ее Хуго тоже подобрал

в море. Долгое время он думал, что табличка упала с русского корабля, но позже выяснил, что это — обычная предвыборная агитация откуда-то из-под Архангельска. Сбоку самого большого ангара Хуго построил несколько сараев, а еще конюшню — для пары шетландских пони — Луны и Веслеглоппы. Снаружи ангара или внутри него хранятся лодки. Одну из них, красного дерева, с транцевой кормой, буквально истомившуюся по прогулкам на Ривьере, он кому-то продал.

Хуго ни разу в жизни не ел крабовых палочек. Более того, и не собирался их пробовать. Поев щей из свежей крапивы и любистока, чечевичной каши, домашней колбасы из лосятины и увенчав нашу трапезу бокалом вина, мы удаляемся в галерею. Вообще-то Хуго пишет маслом всякую абстракцию, но тут на севере местным жителям удобнее принимать его полотна за реальные изображения моря и утесов, то есть за мотивы родной им стихии. Их легко понять, ведь картины источают тот особый свет, которым запоминается морская вода здесь, за полярным кругом, даже в зимнюю пору. Манера у Хуго узнаваемая: арктическая синева студеной, ясной полярной ночи, которая, к слову, темна да не совсем. Свет, хотя бы отблесками или вкраплениями, проглядывает во всем спектре. За небосводом угадывается приглушенный, подспудный румянец, а северное сияние того и гляди заиграет психоделическую импровизацию. Несколько картин Хуго написал, когда работал на батарее Дитля на той стороне Энгелёйя, выходящей в открытое море. В войну немцы возвели здесь самый крепкий и дорогой редут в Северной Европе. Сюда свезли десять тысяч германских солдат и советских военнопленных. И те построили один из крупнейших городов в Северной Норвегии: синематограф, госпиталь, казармы, столовые и даже бордели, в которых работали женщины из Германии и Польши. По всему периметру понастави-

ли радаров, метеостанций, командных пунктов, оборудованных по последнему слову техники. Артбатарея была на несколько десятков километров, наглухо закрывая Вест-фьорд. Подземные бункеры в несколько этажей целы по сей день. От непосильного труда советские заключенные гибли тут сотнями. Впрочем, сам Хуго называет это местечко уединенным и тихим. Батарея на его полотнах, если и появляется, то маячит на заднем плане в виде кубистической конструкции.

Несколько лет назад Хуго выставил на вернисаже мумию кошки. Кошка мумифицировалась естественным путем: забралась помирать в старый сарай на отшибе, забила в щель между досками да там и околела. Местная газета “Ависа Нурланн” еще спросила тогда: “Дохлая кошка — это искусство?” (это когда выяснилось, что Хуго собрался отправить мумию во Флоренцию на биеннале).

В детстве Хуго успел пожить по обе стороны Вест-фьорда, но всегда либо у самого моря, либо неподалеку. Лишь однажды ему пришлось надолго покинуть побережье — когда поступил в престижную Мюнстерскую академию искусств, став самым юным студентом за всю ее историю. В те дни на улице еще частенько можно было встретить искалеченных фронтовиков — на костылях, с ампутированной рукой, в инвалидном кресле или еще с каким-нибудь увечьем. Однокашники Хуго, молодые немецкие максималисты, охотно обсуждали войну во Вьетнаме, но упорно отказывались говорить про Вторую мировую. Хуго любил сесть в поезд и податься на север Германии, в Гамбург, по дороге воздух становился другим, в нем появлялась влажная, морская нотка.

В Норвегию он вернулся с дипломом, свидетельствовавшим о том, что Хуго овладел техниками живописи, графики и скульптуры. И еще с кое-каким багажом: вращение

в радикальной студенческой среде семидесятых не прошло для него бесследно. Дело тут не в политике: в этом смысле Хуго никогда не разделял радикальных идей. Стиль тоже ни при чем, невзирая на круглые очки, усы и длинную черную шевелюру. Дело тут скорее в нетрадиционном подходе к тому, как надо поступать и как жить. Вдобавок есть у Хуго еще одна слабость: каждый день в пять часов он смотрит по телевизору “Инспектора Деррика”. И горе тому, кто посмеет оторвать Хуго от этого немецкого сериала.

Налюбовавшись на новые творения Хуго, иду с ним на чердак. Оттуда открывается вид на зеленеющие просторы Энгелёя. Мягкий летний вечер, на траву уже легла роса, сонный край весь окутан покоем. Эхом разносится даже шепот. Нас окружают лиственные леса: березы, рябины, ивы, осины. Я выхожу на террасу, напоминающую корабельный мостик, и лес вдруг наполняется гомоном. Он весь покрылся пылью и сочится хлорофиллом. Я слышу птичьи голоса: вальдшнепа, бекаса, кроншнепа. Тут целая фонотека, ухо не сразу начинает различать певцов. Вот булькает тетерев, вот трещит дрозд, вот кукует кукушка. Зинькают синицы, тенькают зяблики, чирикают воробьи. Кроншнеп то и дело встревает грустным и одиноким свистком, но тут же меняет темп и трах-тах-тах — срывается на пулеметную очередь. Скупое звякает незнакомая птица, словно медяк стукнулся о стол и прокатился по нему.

Низко над головой пролетает болотная сова. Неравномерно машет длинными крыльями. Фьорд искрится белизной. Снег не успел сойти и обнажить черные макушки гор. Вышина порядочная, за годы тут уже разбилось три самолета. В семидесятых два “старфайтера”, а в 1999 году немецкий “торнадо” — он свалился на пляж Бёсанна после того, как катапультировались пилоты. Обоих подобрали

рыбачьи лодки, вышедшие на лов сига в Скагстадсуннский пролив между островами Энгелёй и Луннёй.

По жизни пернатых можно увидеть разницу между Энгелёйем и Скровой, которая находится на другой стороне Вест-фьорда. На той стороне живут только морские птицы. На Скрове Хуго с Метте восстанавливают старый рыбный заводик с жиротопным котлом: Осьюрдгорден. Как следует из названия, завод принадлежал роду Хуго, правда, коротко — всего несколько десятков лет; в начале восьмидесятых его пришлось продать. Когда же Хуго с Метте выкупили его обратно, завод успел изрядно обветшать. К настоящему дню Осьюрдгорден восстановлен лишь частично. Впрочем, у Хуго и Метте на него большие планы.

Жители Энгелёйя заняты сельским хозяйством, на их острове буквально всё, включая менталитет, не такое, как на Скрове, где живут рыбаки и соледобытчики. Чуть отплывешь от этого островка, а там глубина сразу несколько сотен метров. Подворье Осьюрдгорден на Скрове и станет нашей базой, откуда мы пойдём на акулу.

В доме Хуго рассказывает удивительную историю, что, впрочем, вполне в его репертуаре. Откуда в его голове возникают такие ассоциации, я не знаю, но есть у Хуго особенная черта — вспоминать в связи с одним случаем другой, не имеющий с первым ничего общего. Итак, Хуго поведал мне, как взял себе новорожденного барашка. Хозяин решил, что с барашком что-то не так, и хотел уже прирезать его. Хуго пожалел беднягу и отнес к себе домой. Барашка определили жить на кухне и к осени планировали заколоть. Несколько недель погодя, повстречавшись с Хуго в лавке, прежний хозяин деланно посетовал, что барашку, верно, одиноко живется одному. И принес Хуго второго барашка.

Так, кормясь на кухне, барашки наши выросли, окрепли и — совершенно отбились от рук. Не давали проходу ни детям, ни собакам. Делать нечего, посадил Хуго баранов на лодку и отвез на остров. Там они и паслись.

Стали тучными, жирными и, как выяснилось потом, неблагодарными тварями. Завидев лодку Хуго, часто бросались вплавь навстречу ему, норовя утопнуть под тяжестью намокшей шерсти, и Хуго приходилось вытаскивать их. Но вот в один прекрасный летний день причаливает ничего не подозревающий Хуго к острову, а навстречу летит баран, Хуго и на берег не успел ступить. В довершение рассказа Хуго закатывает рукав, обнажая солидный шрам.

Вскоре баранов закололи. Семья Хуго не особо тужила об их участи. Бараньи шкуры висят на шесте в малом сарае.

Однажды вечером (было это два года назад) Хуго впервые заикнулся о гренландской акуле. Отец Хуго, с восьми лет ходивший на вельботах, видел, как акулы выныривали из глубины, отхватывая жирные куски от разделанных китовых туш, которые команда приторачивала к борту. Он рассказывал, как они загарпунили одну хищницу и подвесили за хвостовой плавник на мачту. Полуживая, с хребтом, пробитым насквозь китовым гарпуном, она проглотила кусок ворвани, лежавший на палубе.

Гренландская акула умирает бесконечно медленно. Часами может лежать на палубе и следить за снующими людьми, отчего у неопытного рыбака — мурашки по коже. Рассказывал отец Хуго и еще одну историю. Как они летом дрейфовали по Вест-фьорду на рыбацком судне “Хуртиг”. Один рыбак, решив освежиться, прыгнул за борт. Но тотчас вылетел как ошпаренный, а неподалеку из воды высунулась акула, немало повеселив всю команду.

Эти отцовские байки, словно дрожжи, сорок лет будоражили воображение Хуго, пока он, наконец, не дозрел. Каждый раз, когда он заводил речь об акуле, глаза его загорались и голос звучал как-то по-особенному. Услышанные в детстве истории не давали покоя. Повидав на своем веку практически всех рыб и морских обитателей, Хуго ни разу не встретил гренландской акулы.

Впрочем, как и я. Так что меня и уговаривать не пришлось — клюнул с ходу, как говорится. Я ведь тоже вырос у моря и рыбачу, сколько себя помню. При поклёвке меня всегда охватывает одно и то же чувство: сейчас из глубины мне может явиться практически все что угодно. Там, под нами, находится иной, удивительный мир бесчисленных тварей, о которых я и понятия не имею. В книгах я рассматривал изображения изученных видов, и этого хватало с лихвой: морская живность была богаче и интересней земной. Самые невероятные существа плавали рядом, буквально у нас под носом, а мы их не видели, ничегошеньки не знали про них, лишь смутно догадываясь о том, что происходит там, в глубине.

Море до сей поры не потеряло для меня своей притягательной силы. Многие из того, что в детстве кажется нам волшебством и чудом, утрачивает очарование, едва лишь мы взрослеем. Море же, напротив, становится только больше, глубже и удивительнее. Может, виной тому атавизм — черта, которая, перепрыгнув через поколения, передалась мне от моего прапрадеда, окончившего свои дни на морском дне.

Было в планах Хуго и еще что-то манящее, но что — я не смогу точно определить даже сейчас, разве что на миг ухватить краешком глаза — так маяк, торопливо вращаясь, разрезает пучком света кромешную тьму.

И я, даром что хватало собственных забот, согласился, не раздумывая: айда в море, ловить гренландца.